

Рудин

Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней.

Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата, жила вместе с своим братом, отставным штаб-ротмистром Сергеем Павлычем Воынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением.

Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой.

— Ну, что? — спросила Александра Павловна.

— Жива еще... — проговорил старик.

— Можно войти?

— Отчего же? можно.

Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно... Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба... Он так и пылал.

— Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой.

— О-ох! — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!

— Бог милостив, Матрена: может быть, ты поправишься. Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.

— Приняла, — проговорил старик, остановившийся у двери.

Александра Павловна обратилась к нему.

— Кроме тебя при ней никого нет? — спросила она.

— Есть девочка — ее внучка, да всё вот отлучается. Не посидит: такая егозливая. Воды подать испить бабке — и то лень. А я сам стар: куда мне?

— Не перевезти ли ее ко мне в больницу?

— Нет! зачем в больницу! всё одно помирать-то. Пожила довольно; видно, уж так богу угодно. С лежанки не сходит. Где ж ей в больницу! Ее станут поднимать, она и помрет.

— Ох, — застонала больная, — красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты...

Старушка умолкла. Она говорила через силу.

— Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна, — всё будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей... Ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика.

— Самовар-то? Самовара у нас нету, а достать можно.

— Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки.

— Ну, прощай, Матрена! — проговорила Александра Павловна, — я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно...

Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.

— Дай, барыня, ручку, — пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб.

— Смотри же, — сказала она, уходя, старику, — лекарство ей давайте непременно, как написано... И чаем ее напоите...

Старик опять ничего не отвечал и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал, на низеньких беговых дрожках, человек лет тридцати, в старом пальто из серой коломьянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.

— Здравствуйте, — проговорил он с ленивой усмешкой, — что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?

— Я навещала больную... А вы откуда, Михайло Михайлыч?

Человек, называвшийся Михайло Михайлычем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.

— Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете; только не лучше ли вам ее в больницу перевезти?

— Она слишком слаба: ее нельзя тронуть.

— А больницу свою вы не намерены уничтожить?

— Уничтожить? зачем?

— Да так.

— Что за странная мысль! С чего это вам в голову пришло?

— Да вы вот с Ласунской всё знаете и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища — это всё пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже: это всё дело души... так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, желал бы я знать?

Александра Павловна засмеялась.

— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.

— И прекрасно делаете, — возразил Михайло Михайлыч, всё не слезая с дрожek, — потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас.

— А что?

— Хорош вопрос! Как будто не всегда приятно вас встретить! Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.

Александра Павловна опять засмеялась.

— Чему же вы смеетесь?

— Как чему? Если б вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент! Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.

— С холодной миной... Вам всё огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.

— И согреет, — подхватила Александра Павловна.

— Да... и обожжет.

— Ну, что ж, что обожжет! И это не беда. Всё же лучше, чем...

— А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, — перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожжой по лошади. — Прощайте!

— Михайло Михайлыч, постойте! — закричала Александра Павловна, — когда вы у нас будете?

— Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатались.

Александра Павловна посмотрела вслед Михайлу Михайловичу.

«Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок.

Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову... Ей навстречу ехал ее брат верхом; рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком

галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес:

— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

— А! Константин Диомидыч! здравствуйте! — ответила она. — Вы от Дарьи Михайловны?

— Точно так-с, точно так-с, — подхватил с сияющим лицом молодой человек, — от Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам-с; я предпочел идти пешком... Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу — вас дома нет-с. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку, и сами собираются в поле; я вот с ними и пошел-с, к вам навстречу. Да-с. Как это приятно!

Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбиной, большие неподвижные глаза навывкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные как смоль волосы — всё в нем изобличало восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, на счет благодетельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диомидычу: он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску.

Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату:

— Сегодня мне всё встречи: сейчас я разговаривала с Лежневым.

— А, с ним! Он ехал куда-нибудь?

— Да; и вообрази, на беговых дрожках, в каком-то полотняном метке, весь в пыли... Какой он чудак!

— Да, быть может; только он славный человек.

— Кто это? Г-н Лежнев? — спросил Пандалевский, как бы удивясь.

— Да, Михайло Михайлыч Лежнев, — возразил Волынцев. — Однако прощай, сестра: мне пора ехать в поле; у тебя гречиху сеют. Г-н Пандалевский тебя проведет домой...

И Волынцев пустил лошадь рысью.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул Константин Диомидыч и предложил Александре Павловне руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу.

Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диомидычу; он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно нести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся ...ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и ...ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазках, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее простенькой... Можно ли было чего-нибудь еще желать?

— Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы? — спросила она Пандалевского.

— Да-с, прислала-с, — отвечал он, выговаривая букву «с», как английское «th», — оне непременно желают и велели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать... Оне (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа) — оне ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомиться.

— Кто это?

— Некто Муффель, барон, камер-юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомилась у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются, как о любезном и образованном молодом человеке. Г-н барон занимается также литературой, или, лучше сказать... ах, какая прелестная бабочка! извольте обратить ваше внимание... лучше сказать, политической

экономией. Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе — и желает подвергнуть ее на суд Дарье Михайловне.

— Политико-экономическую статью?

— С точки зрения языка-с, Александра Павловна, с точки зрения языка-с. Вам, я думаю, известно, что и в этом Дарья Михайловна знаток-с. Жуковский с ними советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медиарович Ксандрыка... Вам, наверное, известно имя этой особы?

— Нисколько, и не слыхивала.

— Не слыхивали о таком муже? Удивительно! Я хотел сказать, что и Роксолан Медиарович очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в русском языке.

— А не педант этот барон? — спросила Александра Павловна.

— Никак нет-с; Дарья Михайловна рассказывают, что, напротив, светский человек в нем сейчас виден. О Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг... Это я, признаюсь, послушал бы: ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок.

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу... До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и кленов.

— Так как же-с прикажете доложить Дарье Михайловне, — заговорил Пандалевский, слегка обиженный участием поднесенного им цветка, — пожелаете вы к обеду? Оне и братца вашего просят.

— Да, мы приедем, непременно. А что Наташа?

— Наталья Алексеевна, слава богу, здоровы-с... Но мы уже прошли поворот к имению Дарьи Михайловны. Позвольте мне раскланяться.

Александра Павловна остановилась.

— А вы разве не зайдете к нам? — спросила она нерешительным голосом.

— Душевно бы желал-с, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый этюд Тальберга: так надо приготовиться и подучить. Притом

я, признаюсь, сомневаюсь, чтобы моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие.

— Да нет... почему же...

Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза.

— До свидания, Александра Павловна! — проговорил он, помолчав немного, поклонился и отступил шаг назад.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константин Диомидыч также пустился восвояси. С лица его тотчас исчезла вся сладость: самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диомидыча изменилась; он теперь и шагал шире и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился: он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила:

— Ступай, барин, право...

Константин Диомидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков.

— На что тебе васильков? венки, что ль, плеть? — возразила девушка, — да ну, ступай же, право...

— Послушай, моя любезная красоточка, — начал было Константин Диомидыч...

— Да ну, ступай, — перебила его девушка, — баричи вон идут.

Константин Диомидыч оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шел их учитель, Басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый малый, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свинными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не стриг волос, — не из щегольства, а от лени; любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского.

Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж нисколько его не боялись; со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что для нее предрассудков не существует.

— Здравствуйте, мои миленькие! — заговорил Константин Диомидыч, — как вы рано сегодня гулять пошли! А я, — прибавил он, обращаясь к Басистову, — уже давно вышел; моя страсть — наслаждаться природой.

— Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, — пробормотал Басистов.

— Вы материалист: уже сейчас бог знает что думаете. Я вас знаю.

Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву «с» произносил чисто, даже с маленьким свистом.

— Что же, вы у этой девки, небось, дорогу спрашивали? — проговорил Басистов, поводя глазами и вправо и влево.

Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно.

— Я повторяю: вы материалист и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону...

— Дети! — скомандовал вдруг Басистов, — видите вы на лугу ракиту; посмотрим, кто скорее до нее добежит... Раз! два! три!

И дети бросились во все ноги к раките. Басистов устремился за ними.

«Мужик! — подумал Пандалевский, — испортит он этих мальчишек... Совершенный мужик!»

И, с самодовольствием окинув взглядом свою собственную опрятную и изящную фигурку, Константин Диомидыч ударил раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнул воротником и отправился далее. Вернувшись к себе в комнату, он надел старенький халат и с озабоченным лицом сел за фортепьяно.